

Раневская
 Июнь 2008

В последние годы своей жизни Фаина Раневская часто писала: «Тоска, тоска, я в отчаянии. И такое одиночество». Но старалась никому не показывать своего одиночества, блестяще скрывая его за колкими шутками, злой иронией и сарказмом. Ее слова боялись многие – оно могло «пригвоздить», поставить на место, но порой и незаслуженно обидеть.

ОТБИВШАЯСЯ ОТ СЕМЬИ

Фаина Фельдман (это потом она стала Раневской) родилась 27 августа 1896 года в благополучной еврейской семье. Ее отец – Гирши Фельдман – крупный торговец и владелец фабрики сухих красок, был уважаемый, богатый и известный в Таганроге человек. Ему принадлежали несколько домов, магазины, склады и пароход «Св. Николай», на котором в дни



шет Раневская в своем дневнике. – Я их бросаю, как гнойные, гнилые тряпки. Это правда. Так было всегда». Кто-то из друзей, узнав об этой истории, горько заметил: «Это же Раневская из «Вишневого сада», только она так могла! Ты – Раневская!» Так и стала Фаина Фельдман – Раневской.

Неудачи не сломили ее решения быть на сцене: с трудом она устроилась в частную театральную школу и даже приобрела на последние деньги сценический гардероб... Но очень скоро была вынуждена оставить обучение в школе из-за невозможности оплачивать уроки.

ОТ КОКЕТКИ ДО МУЛИ

Женщины сыграли в судьбе Раневской главную, если не сказать, решающую роль. Они помогли ей становиться на ноги, устраиваться в театры, оттачивать актерское мастерство и просто, как напишет потом актриса, «воспитывали из нее человека».

Потерянная, Фаина бродила по Москве. Она остановилась у колонн Большого театра. И тут в ней со словами: «Кто здесь в толпе у подъезда театра самый замерзший?», подошла Екатерина Гельцер, знаменитая балерина. Она выслушала грустный рассказ провинциальной девочки. «Фанни, – сказала Гельцер, – вы меня психологически очень заинтересовали». Гельцер ввела Раневскую в круг своих друзей,

на роль «кокетки» с пением и танцами в небольшой театр в городе Керчь.

Но сборов в Керчи не было: театр всегда пустовал... Распродав свой гардероб, Фаина перебирается в Феодосию по приглашению антрепренера Новожилова, оценившего талант Раневской. Но Новожилов оказался жуликом, и, собрав от выступлений актеров неплохие деньги, сбегал из Феодосии.

Она осталась вообще без средств. Но ее пугала не нужда, а то, что она не может развивать свой талант, что у нее не «своей темы». «Тогда я переехала в Ростов-на-Дону», – пишет в автобиографии актриса. Это была весна 1917 года. И этой весной Фаина узнала, что вся ее семья эмигрировала в Турцию. В России она осталась одна.

СТУЧИТЕ, И ВАМ ОТКРОЮТ

В Ростове-на-Дону как раз в то время, когда Раневская металась в поисках наставников, блистала известная актриса Павла Леонтьевна Вульф. Четыре года назад именно ее гастроли в Таганроге изменили жизнь Фаины Фельдман: под влиянием ее игры она ушла из семьи, решив стать актрисой. Теперь их пути пересеклись. Раневская пошла за помощью к Вульф. Они еще не были знакомы.

В тот день у Павлы Леонтьевны была мигрень, она никого не

Я НЕ ВЕЛИКАЯ АРТИСТКА – Я ВЕЛИКАЯ ЖОПА

революции семья Фельдманов эмигрировала из бунтующей России. Мать, Милка Рафаилова, была натурой несколько экзальтированной, страстно любящей музыку и литературу.

Отца маленькая Фаина боялась: он нередко жестоко наказывал дочь за непослушание, плохую учебу и злые шутки над гувернанткой и бонной-немкой, которых девочка терпеть не могла и втайне мечтала, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала, расшибла голову и потом умерла.

Позднее Раневская скажет, что «в семье была не любима» и поэтому ее сообщение отцу о том, что после гимназии она на-

мерена стать актрисой, послужило поводом к полному разрыву. «Господи, – писала она, – мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, я и тогда была страшно самолюбива и упряма... И вот моя самостоятельная жизнь началась».

ЛЕТАЮЩИЕ ДЕНЬГИ

Самостоятельная жизнь началась с того, что в 1915 году, собрав небольшой чемоданчик, поцеловав на прощание мать, она уехала в Москву для поступления в театральную школу. Но здесь Раневскую ждало разочарова-

ние: она везде слышала: «Нет». К тому же, от волнения на экзаменах Фаина начала заикаться, чем лишь подтвердила свою «профнепригодность».

В Москве она осталась без денег. Отец поначалу вообще отказывался помогать. Фаина даже набралась храбрости и пошла к другу семьи, чтобы одолжить денег. Но получила не менее резкий отказ. Через несколько недель Гирши, сдавшись уговорам жены, все-таки выслал дочери перевод. Держа в руках деньги, Фаина вышла на улицу. Резкий порыв ветра вырвал бумажки, и они полетели по улице. «Я ненавижу деньги до преступности, – напи-

брала на спектакли во МХАТ, возила в рестораны слушать цыган... «Она показала мне Москву тех лет, – напишет актриса. – Это были «Мои университеты».

Именно Гельцер устроила Фаину на выходные роли в летний Малаховский театр, где ее ближайшая приятельница держала антрепризу. В этом театре и началась артистическая деятельность Раневской. Но очень скоро летний сезон закончился. И опять – Москва, неуверенность в себе, нескладная внешность, одиночество. После долгих мытарств молодой актрисе удастся подписать договор на 35 рублей в месяц «со своим гардеробом»

принимала. Но настойчивости молодой посетительницы пришлось уступить. Вошла нескладная рыжая девица со словами восторга и восхищения ее игрой. «Я просила Вульф помочь мне устроиться в театр на выходные роли, – вспоминала Раневская. – Она предложила мне взять отрывок из пьесы «Роман», которая в то время нравилась публике... настояла на том, чтобы я выбрала одну из сцен пьесы и явилась к ней, чтобы показать мою работу».

Неделю Раневская готовила свою роль. А потом со страхом сыграла Вульф небольшой монолог из пьесы. «Мне думается, вы способная, я буду вами зани-



маться», – таков был актерский вердикт. Вульф начала работать с Раневской над этой ролью, устроила ее в театр. С тех пор Фаина стала не только ученицей Вульфа, но и почти членом ее семьи. Она постоянно находилась с Павлой Леонтьевной, впитывала ее культуру, лексику, орфоэпию, ее профессионализм и стиль. И как-то незаметно родная дочь Вульф, Ирина, вызывавшая у Раневской чувство ревности и раздражения, отошла в тень.

КОМИЧНЫЕ ПРОВАЛЫ

Под пристальным наблюдением Вульф Раневская пробовала новые роли, играла в новых театрах. Но не все проходило успешно. И порой театральные неудачи заставляли Раневскую задуматься о том, чтобы вообще уйти из профессии. Однажды она играла Прелестницу, соблазняющую молодого красавца. Действие происходило в горах Кавказа. Она стояла на горе и говорила противно-нежным голосом: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея...» После этих слов Раневская умудрилась свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стена, грозится оторвать ей голову. А Фаина, придя домой, дала себе слово покинуть сцену.

Во второй раз, когда актриса решила оставить театр, произошла не менее комичная ситуация. «Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила черными, – вспоминала она. – Высушив, решила украсить лисицей туалет, набросив ее на шею. Платье на мне было розовое с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером, он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с Вульф случилось нечто вроде истерики».

НЕНАВИСТНАЯ МУЛЯ

Из периферийных театров вместе со своей учительницей Вульф переехала в Москву. Новые роли, новые партнеры, новые театры, новые режиссеры. После роли в «Вассе Железновой» Раневской было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».

В начале 30-х годов Раневская пробует себя в качестве актрисы кино и снимается у Михаила Ромма в «Пышке». Кинематограф заворожил ее: она бросает Театр Красной Армии, в котором тогда играет, и четыре года снимается в кино. Фильмом, принесшим ей всенародную известность, стал «Подкидыш». Фразу, за которую потом много раз корила себя Фаина – «Муля, не нервнирай меня», – Раневская придумала сама. Потом, где бы она ни появлялась, на нее показывали пальцем и говорили: «Вон! Смотри! Это – Муля!!!» Даже Брежнев, вручая ей в Кремле орден Ленина, решил соригинальничать и тоже процитировал: «Муля, не нервнирай меня», чем обидел актрису. Популярность Раневской после «Подкидыша» достигла своего апогея. Когда Фаина шла по улице, за ней бежала ватага мальчишек и кричала: «Муля! Муля! Муля!» Как-то раз у нее было плохое настроение, она обернулась, поправила пенсне и сказала: «Пионеры, идите в жопу!»

СОЖЖЕННЫЕ СТИХИ

Наступили жестокие 40-е годы. Раневская с семьей Вульф перебирается в эвакуацию в

Ташкент. Здесь она знакомится с Анной Ахматовой, которую привезли совсем больную из блокадного Ленинграда. Вместе они бродят по старому городу, по рынку. За Раневской бегут дети и хором кричат: «Муля, не нервнирай меня». Это очень надбедало и раздражало. Она все больше и больше ненавидела сыгранную роль. И сказала об этом Анне Андреевне. «Не огорчайтесь, у каждого из нас есть своя Муля!» – ответила Ахматова.

Их отношения становятся все крепче. Правда, характер и у той и у другой был, как говорят, не сахар. И Анна Андреевна, смеясь, говорила: «Наша фирма – «Два петуха». В эвакуации они встречались почти каждый день. Во время войны Ахматова дала Раневской на хранение толстую папку. «Я была менее «культурной», чем молодежь сейчас, – вспоминала актриса, – и не догадалась заглянуть в нее. Потом, когда арестовали ее сына второй раз, Ахматова сожгла эту папку. Это были, как теперь принято называть, «сожженные стихи». Видимо, надо было заглянуть и переписать все, но я была, по теперешним понятиям, необразованной».

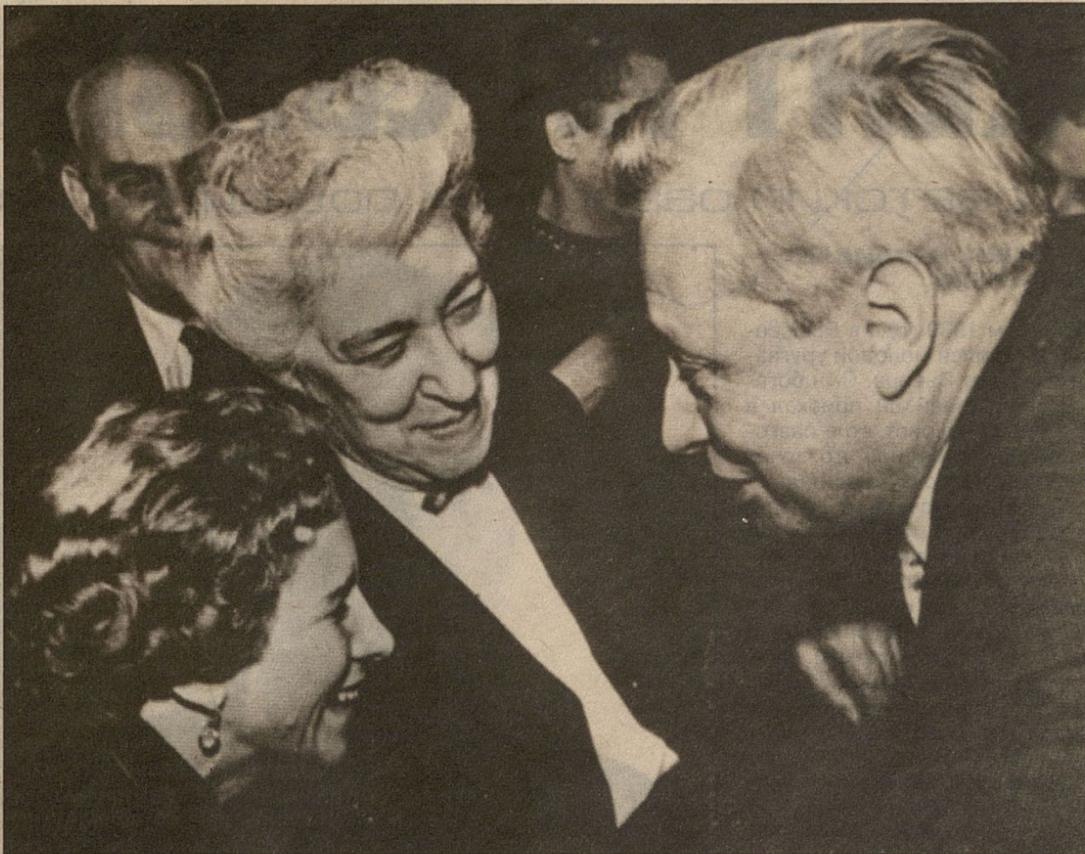
Когда в августе 1946 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о закрытии журнала «Ленинград», смене руководства журнала «Звезда» с уничтожительной критикой поэзии Анны Ахматовой и прозы Михаила Зощенко, Раневская, бросив все, поехала к Анне Андреевне: «Она открыла мне дверь, потом легла. Тяжело дышала. Об «этом» мы не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу и, подведя меня к газете, прикреплённой на доске, говорила: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают». Долго молчала: «Скажите, Фаина, зачем понадобилось всем танкам проехать по грудной клетке старой женщины?» – и опять молчала... В один из страшных ее дней спросила: «Скажите, вам жаль меня?» – «Нет», – сказала я, боясь заплакать. – «Умница, меня нельзя жалеть».

УРОД Я

В эти годы в записках Раневской все чаще и чаще проскальзывает тема одиночества: «Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной». Или: «Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая» дура – не лагу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть; у всех есть «приятельницы», у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я».

По части хозяйства Раневская была человеком абсолютно беспомощным. Домработницы, которых она нанимала, нещадно ее обворовывали, обманывали. Когда появлялись деньги, Фаина накупала подарки и раздавала их своим близким. Двери ее квартиры были открыты, в гостях у Раневской всегда кто-нибудь был. И каждого гостя встречали радушно: из холодильника извлекались все деликатесы, а Фаина Георгиевна внимательно следила, чтобы гость попробовал все. Она же ела не так много – запрещали врачи.

Все чаще и чаще подводило здоровье. Раневская становится постоянным пациентом кремлевской больницы, о которой потом скажет с присущим ей чувством юмора: «Кремлевка – это кошмар со всеми удобствами». А в дневнике напишет: «Мне



иногда кажется, что я живу только потому, что очень хочу жить. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить, но я ему приказываю: «Бейся, окаянное, и не смей останавливаться».

НЕ ДОИГРАЛА

Раневская все реже и реже получала удовольствие от сыгранных ролей. Не потому, что была недовольная своей игрой, хотя она всегда переживала, что где-то не доиграла, не довела роль до нужной вершины. А потому, что все реже и реже получала хорошие роли. «Анна Андреевна мне говорила: «Вы великая актриса», – писала Раневская. – Ну да, я великая артистка, и поэтому ничего не играю, мне не дают, меня надо сдать в музей. Я не великая артистка – я великая жопа». Театр раздражал ее своими склоками, бесталанными актерами, дельцами-режиссерами: «Сегодняшний театр – торговая точка. Контора спектаклей... Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в сортире. Я туда хожу, как в молодости ходила на аборт, а в старости рвать зубы. Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказной. Я – недо... И в театре тоже. Кладбище несыгранных ролей. Все мои лучшие роли сыграли мужчины».

Этими страхами она делится только со своей любимой Павлой Леонтьевной и Анной Ахматовой. Они единственные полностью понимали ее. И когда в 1961 году Вульф умирает, Раневская долго не может прийти в себя. Наверное, она так и не оправилась после этой ужасной потери: «Умирая, она поцеловала мне руку, сказала: «Прости, что я тебя воспитала порядочным человеком».

После смерти Вульф Раневская бросает курить. На окнах, полках и просто на столе лежали пачки и блоки сигарет, которые она раздражала знакомым. «Я хожу среди них, бросаю им вызов – могу не курить», – говорила актриса. Фаина Георгиевна курила 50 лет – бросать ей было трудно. В вазе на столе лежали соленые сухарики, которые помогали бороться с вредной привычкой.

В это же время Раневская получает из Турции письмо от своей сестры Беллы, решившей

вернуться на родину и увидеть сестру. Белла просила прислать ей приглашение. Раневская начала хлопотать перед министрами и, к своему удивлению, получила разрешение на возвращение сестры. Они стали жить вместе в просторной квартире на Котельнической набережной. Но, прожив с Фаиной всего несколько лет, Белла тяжело заболела и в 1963 году умерла.

Уходили самые близкие. Записи Раневской полны горечи и боли... «Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: «Какая смертная тоска», и все. Я бы еще записала, что театр стал моей богдельней, а я еще могла бы что-то сделать».

А 5 марта 1966 года Раневская узнает, что в домодедовском санатории под Москвой умерла Анна Андреевна Ахматова. Это страшное известие сломило актрису: «Почему, когда погибает ПОЭТ, всегда чувство мучительной боли и своей вины. Нет моей Анны Андреевны – она все мне объяснила бы, как всегда...»

Теперь Раневская остается одна. Со своими снами. Ей некому их рассказывать, поэтому она записывает их на клочках бумаги, на журнальных страницах. Вот один ее сон: «Вошла в черном Ахматова, худая – я не удивилась, не испугалась, – спрашивает меня: «Что было после моей смерти?» Я подумала, а стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко «Памяти Ахматовой», – решила не говорить. Во сне не было страшно, страх – когда проснулась, – нестерпимая мука».

«ТОСКА, ТОСКА...»

К Раневской неоднократно обращались с предложением написать книгу воспоминаний. Чаще всего она отшучивалась фразой: «Страшно грустно моя жизнь. А вы хотите, чтобы я воткнула в жопу куст сирени и делала перед вами стриптиз». Но однажды согласилась, писала книгу три года, получила аванс... И неожиданно для всех уничтожила написанное: «Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных. Я очень хорошо знаю, что талантлива, а что я создала? Пропищала и только. Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре?... Никому я не была нужна... Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И

это все. Личная жизнь тоже не состоялась. В общем, жизнь прошла и не поклонилась, как сердитая соседка». Потом она часто жалела, что уничтожила книгу и все свои дневники: «Меня терзает жалость. Кто-то сказал: жалость – лик любви. Ночью болит все, а больше всего совесть. Жалею, что изорвала дневники, – там было все... Не буду писать книгу о себе, не хочу делать свою жизнь достоянием публики. Лифтерши бы зачитывались этим опусом».

Она становилось все более закрытой. Внешне была все также весела, все также шутила. Но шутки ее становились какими-то злыми. На вопрос, как она себя чувствует, можно было услышать: «Ужасно. Весна, а такой холод. Вы не находите, что наша планета вступила в климатический период? Вы интересуетесь, что говорят врачи? Но хороших врачей нет. Они спрашивают, на что я жалуюсь. У меня воспаление надпочечного нерва. Но жалуюсь я на директора театра. Он тридцать лет не дает мне ролей». Если ей надоедали телефонные разговоры собеседника, она объявляла: «Не могу больше с вами говорить, звоню из автомата...»

Когда Раневская начинала говорить о своей театральной карьере, то слова ее были полны горечи.

«Три четверти ролей, какие я должна была играть, мною не сыграны. Я была некрасива, заикалась, и режиссеры меня не любили: Они любили молодых и красивых. К тому же в молодости я была бездарна... Да-да, это потом со мной случилось, что я стала кое-что понимать в искусстве. Вы не поверите, в это трудно поверить, но ведь я стеснительна. Только когда захожу на сцену, надеваю парик, чужое платье – становлюсь нахалкой, вроде бы это не я. А без всего этого – я застенчивая и очень заикаюсь».

О своей личной жизни она почти не говорила. Возможно, потому, что ее и не было. «Все, кто меня любил, – сказала она однажды, – не нравились мне. А кого я любила – не любили меня». Поэтому она воспринимала этот мир с напряжением неутоленного чувства счастья. И, может быть, оттого с такой правдой несла драму одиночества на сцене. И внутри себя.

Таня ТЁТКИНА